

Опубликовано в журнале:

[«Сибирские огни» 2009, №3](#)

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

**Алексей ГОРШЕНИН**

## **«Последний герой» «Сибирских огней»**

**К 70-летию Геннадия Карпунина**

Только в дни юбилейных да скорбных дат начинаешь особенно остро осознавать, насколько быстротечно и безжалостно время и как ничтожно коротка твоя жизнь перед его необъятностью.

22 марта 2009 года Геннадию Карпунину исполнилось бы 70 лет, но вот уже более десяти из них (ушел из жизни 23 декабря 1998 года) его нет с нами.

И еще одна дата, связанная с его именем, но уже как бы моя, личная: три десятилетия назад наши жизненные пути пересеклись, и мы оказались в одной лодке, в которой плыли вместе многие годы.

“Лодкой” этой стал журнал “Сибирские огни”, куда в марте 1979 года я пришел работать редактором отдела прозы.

Карпунин к тому времени был уже заместителем главного редактора, и поначалу я лишь мельком видел его то в приемной, одной на двоих с шефом, то в редакционном коридоре. Высокий, худой, угловатый, с длинной кадыкастой шеей, подпиравшей продолговатое лицо с грубовато вытесанными чертами, ямочкой на подбородке и густой темноволосой шевелюрой, он напоминал мне обыкновенного деревенского мужика. Только вот очки в толстой пластмассовой оправе несколько корректировали это впечатление в сторону сельского, опять же, интеллигента — агронома, например, бухгалтера или учителя.

Как потом выяснится, Геннадий Федорович действительно имел к сельской глубинке самое непосредственное отношение: родился в небольшой сибирской деревеньке в многодетной семье механизатора, а детство свое провел и школу окончил в пристанционном поселке на Транссибирской магистрали. О кровной связи с поселково-деревенским бытием говорят и многие стихи Карпунина.

Была в облике Карпунина, как мне тогда показалось, и некоторая флегматичность и мрачноватость, подчеркнутая соответствующим тембром его глуховатого баритона. Хотя вскоре я понял, что это скорее внешнее впечатление. И приходили на ум блоковские строки: “Простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его?..”

Внешнее “угрюмство” в Карпунине многое (иной раз и противоречивое) скрывало. И вряд ли про него можно было сказать, продолжая Блока, что он был “весь дитя добра и света”. Как, впрочем, и любой поэт, как всякая по-настоящему творческая личность...

Он и шутил-то, и хохмил все с той же угрюмостью на челе. Вспоминается один эпизод. На одной из еженедельных творческих “сред” в Новосибирской писательской организации с воодушевлением делился своими воспоминаниями о поездках на целину поэт-песенник Василий Пухначев:

— Приезжаем как-то в один целинный совхоз, и уже с околицы слышу — поют: “Широкие степи, раздольные степи, до самых высот пролегли, увидишь раз в жизни, полюбишь навеки просторы целинной земли!..” Мою песню поют — надо же! Приехали в другую деревню — и там мои песни поют!.. — с какой-то ребячьей гордостью, граничащей с хвастовством, рассказывал Пухначев.

И тут его перебил мрачный голос Карпунина из зала:

— Может, и сейчас споем?..

Сам Карпунин, в отличие от ряда наших писателей, особенно поэтов, не был ни хвастуном, ни резонером. Хотя уже и тогда, в начале восьмидесятых, имелись у него немалые поводы для гордости. Участие в Пятом всесоюзном совещании молодых писателей, которое, кстати рекомендовало его в Союз писателей по рукописи, три поэтические книжки в творческом багаже, детская повесть, уже начато исследование “Слова о полку Игореве”. Его заметила критика, в том числе и столичная. О нем отзываются как о безусловно талантливом поэте. Хотя пишет он не одни только стихи. Хорошо помню веселую, лиричную, добрую, занимательную, познавательную сказочную детскую повесть Геннадия Карпунина “Луговая суббота или вероятные и невероятные приключения Васи Морковкина”, увидевшую свет в середине 1970-х. Сочинял юмористические рассказы, пародии. А еще из-под пера его появлялись литературоведческие статьи и эссе, рецензии. Переводил также с немецкого, польского, монгольского, с языков народов СССР прозу и поэзию. И в редакции журнала “Сибирские огни” стал вторым человеком.

Впрочем, им он мог и не стать. Тут своя история.

На рубеже шестидесятых-семидесятых годов тогдашний главный редактор “Сибирских огней” Александр Иванович Смердов взял в отдел прозы журнала редакторами двух молодых талантливых поэтов: Александра Плитченко и Геннадия Карпунина (если быть точным, то последний в редакцию журнала был принят в 1971 году). Они почти одновременно ступили на литературную стезю, представляя собой новое поколение сибирской словесности, и надолго прижились в “Сибирских огнях”. Сам Смердов относился к ним по-отечески и шутливо называл их “бойрами”, подразумевая, по всей видимости, себя князем редакционной вотчины. “Бояре”, поскольку много у них (и деревенские корни-истоки, и мироощущение, и, в значительной степени, литературные взгляды) имелось общего, дружили и были “не разлей вода”. Плитченко работать в журнале начал чуть раньше, а потому, видимо, и заведовать отделом прозы Смердов поручил ему. Но на их отношениях это никак не сказывалось. Они дружно, “ноздря в ноздю” шли в одной редакционной упряжке почти четверть века, пока, уже на исходе восьмидесятых, пути их не разошлись. Но это уже отдельный разговор.

В 1975 году состоялась “смена караула”: Смердов передал бразды правления журналом Анатолию Васильевичу Никулькову. Более шустрый и быстрее реагирующий на смену обстановки, Плитченко предложил Карпунину, опережая события, не дожидаясь, пока новая метла начнет мести по новому согласно своему усмотрению, самим проявить инициативу и отправиться к Никулькову с собственными кадровыми предложениями. Предложений у Плитченко было два. Первое — назначить заместителем главного редактора, вместо оказавшегося в идеологической опале Николая Николаевича Яновского, пострадавшего за попытку публикации некоторых произведений двадцатых годов, Александра Ивановича Плитченко. Второе — взять на должность ответственного секретаря редакции, которую освобождал уходящий на “вольные хлеба” Николай Самохин, Геннадия Федоровича Карпунина. Но в последний момент Плитченко, перестраховываясь, решил с этими предложениями лично не светиться и уговорил, на что-то уважительное сославшись, отправиться на randevu и озвучить предложения (не называя, естественно, их истинного автора) одного Карпунина.

Друг не мог отказать другу, и такой разговор с Никульковым состоялся. Анатолий Васильевич Карпунин выслушал, подумал и спросил, что-то прокрутив у себя в голове:

— А почему не наоборот? Почему бы, Геннадий Федорович, вам не стать моим заместителем?

И тут же подписал соответствующий приказ о распределении должностей. Такого поворота Плитченко не ожидал и долго потом корил себя за проявленное в ответственный момент малодушие. Но на сей раз на отношения друзей этот инцидент не повлиял. По крайней мере — внешне. Они (теперь уже зам. главного редактора и ответственный секретарь) по-прежнему

оставались в одной упряжке, только в ином соподчинении. В каком и застал я их, придя в журнал.

Плитченко чаще всего увидеть можно было не в собственном, в другом конце коридора, а в карпунинском кабинете. Александр Иванович просиживал здесь часами. Появлялись и уходили другие работники редакции, приходили и исчезали авторы, а ответственный секретарь продолжал сидеть в уголке между окном и придвинутым к нему вплотную громадным, на полкабинета письменным столом, обтянутым темно-зеленым бильярдным сукном — настоящим шедевром мебельно-канцелярского искусства еще, наверное, довоенных годов, с которых, собственно, он в редакции и остался.

Подобные столы были еще в нескольких кабинетах. Впоследствии их сменили на более современные, менее громоздкие, из прессованных стружек, зато с вишневой полировкой, но Геннадий Федорович еще долго не расставался со своим. Впрочем, и не расстался. Лишь перетащил его однажды в свой домашний рабочий кабинет, где этот реликт находится, наверное, и по сей день.

— Зачем тебе этот монстр? — смеялся я, когда мы на себе перетаскивали стол Карпунину в квартиру (жил он неподалеку от редакции).

— За ним работается лучше, — совершенно серьезно отвечал Геннадий. — Он, старик, аккумулятор нашей литературной памяти. Представь, сколько за ним сибирских писателей успело поработать. Он, наверное, не одно поколение пережил. Верить ли, такая энергетика от него исходит!..

Не поверил, честно говоря. Посчитал, все-таки, чудачеством. Но теперь, оглядываясь, соглашаюсь с Карпуниним. Работалось ему за этим столом действительно хорошо и плодотворно. Много чего здесь было Геннадием Федоровичем создано. В том числе большая часть исследования о “Слове”, книга о славянских верованиях “Красный венец” и еще многое другое.

А сколько за этим столом было выпито? Прежде всего, чаю. Кофеварка не выключалась на посиделках “бояр”, не выпускавших из рук чайных чашек. Чаепитие перемежалось сигаретными затяжками, и в кабинете можно было вешать топор. За бесконечными разговорами обсуждались далеко не только и даже не столько журнальные проблемы. На них-то, полагаю, меньше всего времени уходило. Работа в редакции достаточно хорошо была отлажена, сроки и графики выполнялись, сотрудники редакции при некоторой, на первый взгляд, царившей здесь вольнице, трудились ритмично и добросовестно.

Разговоры, как я понял, позже и сам в них не раз участвуя, шли обо всем, что чем-то зацепило, привлекло внимание. Но чаще, конечно, о том, что ближе и роднее всего — о поэзии, литературе, культуре в целом. Друзья рассказывали друг другу о прочитанном, увиденном в театре, кино, по телевизору, дискутировали на разные темы: исторические, эстетические, идеологические, профессионально-творческие. Солировал, как правило, Плитченко. Он жил в Академгородке, неподалеку от станции Сеятель, по два часа в день тратил на дорогу в электричке, где, убивая время, и читал все подряд. Иногда мне казалось, что “бояре” просто воду в ступе толкут, обсуждая всякую всячину. Но потом подумал, что для них эти рабочие чаепития, наверное, нечто вроде самообразовательного семинара-тренинга, в котором оба восполняют недостаток систематического гуманитарного образования. У Карпунина был диплом Томского политехнического института, а Плитченко обучался сначала в Новосибирском педагогическом, потом в Литературном (имени Горького) институте... Не было, кроме школьного, никакого другого образования у завсегда этих посиделок, заведующего отделом поэзии Александра Александровича Романова. Впрочем, на этих же чаепитиях высказывалось и проговаривалось и немало из того, что потом получало творческое воплощение, обростало литературным “мясом”.

Пили, не раз случалось, за карпунинским столом не только чай. Свой кабинет Никульков хранил в непорочной чистоте для редакционных планерок и заседаний редколлегий, визитов авторского

“крупняка” и разных высоких особ. Авторы помельче и пожиже (их было подавляющее большинство) шли к Карпунину. К нему пускали “без доклада”.

Ну а простой советский литератор был человеком, как правило, если уж и не глубоко пьющим, то хорошо выпивающим, и принести с собой соответствующее угощение считал делом чести. Традиция эта от работы, безусловно, отвлекала, и Геннадию Федоровичу приходилось нелегко. Но с другой стороны, живое творческое общение с авторами-“огнелюбами” тоже было частью редакционной работы.

У Карпунина в кабинете проходили и общередакционные застолья по “красным” датам календаря. Стол застилался газетами, уставлялся бутылками, нехитрой снедью (нынешние деликатесы, которыми забит каждый гастроном, мы тогда могли лицезреть лишь в фильмах про “загнивающий Запад” и вполне обходились плавлеными сырками, рыбными консервами типа “Минтая в масле” или “Килек в томате”, а в лучшем случае домашней солониной). Залетала сюда иногда рыбка и по-настоящему деликатесная. Благодаря, опять же, авторским стараниям.

Как-то в разгар одного из таких застолий на пороге карпунинского кабинета возник новосибирский прозаик Евгений Городецкий с большим свертком в руках. Городецкий цветет и пахнет — хорошим одеклоном и рыбой. Евгений Александрович разворачивает бумагу и извлекает из свертка две кетины. Одна — побольше, другая — поменьше. Редкий в начале восьмидесятых деликатес. Городецкий второй год ездит с экспедициями биологов на Дальний Восток. Оттуда и рыба. На основе своих дальневосточных впечатлений он написал повесть “Рыбьи яйца”, а журнал только что ее напечатал. Вот и нарисовался Городецкий по сему поводу с презентом.

— Ребята, не пейте пока, подождите! — просит Городецкий воздержаться от очередного тоста. — Сейчас под хорошую закусочку вмажем.

И ловко начинает делать бутерброды с красной рыбой. Для них Евгений Александрович использует меньшую кетину. Наделав бутербродов, Городецкий берет рыбину побольше и на вытянутых руках, словно хлеб-соль, несет ее главному редактору.

— Это вам, Анатолий Васильевич! — прочувствованно говорит Городецкий. — Благодаря вам моя повесть увидела свет.

— Ну почему благодаря мне... — засмутился Никульков. — И Карпунин читал, и Плитченко, и рецензенты. Отдел прозы тоже с ней работал...

— И все-таки без вашего решающего слова ничего бы не было. Поэтому примите этого рыбака в знак огромной благодарности и уважения.

Никульков, хмурясь, взял рыбу, буркнув “ладно, коллективно и сожрем”. А Городецкий с чувством выполненного долга пошел вокруг стола осчастливливать коллектив бутербродами. Когда автор “Рыбьих яиц” оказался возле заведующего отделом поэзии Романова, тот неожиданно схватил чашку с недопитым чаем и плеснул им в лицо Городецкому.

— За что? — взвизгнул оскорбленный прозаик.

— Дели рыбу правильно, — сурово прокомментировал ситуацию стоявший рядом с Романовым Карпунин.

Слова эти сразу же стали редакционным афоризмом и частенько в ее стенах по разным поводам слышалось сакраментальное — “Дели рыбу правильно”.

За этим же историческим столом состоялся наш первый непосредственный живой контакт, явившийся, по сути, точкой отсчета в дальнейших, со временем все более дружеских, отношениях.

Я уже доработал до первой заплаты. “Сибирские огни” были тогда производственным подразделением Западно-Сибирского книжного издательства, имея с ним общую бухгалтерию, поэтому и зарплату мы получали в издательской кассе. Карпунин уже получил причитающееся и пересчитывал в сторонке деньги, когда и я отошел от ее окошечка.

— Поздравляю с первой получкой! — сказал он мне.

— Надо бы это... — замямлил я в ответ, соображая как бы “это” поэзопистей выразить, а с другой стороны, не зная, как к “этому”, то есть к распространенному русско-советскому обряду “обмывания” в качестве своего рода окропления и освящения трудовых отношений святой водой, отнесется начальство.

— Да надо бы. Вроде как бы и полагается... — легко разрешил мои сомнения Геннадий Федорович.

По пути зашли в гастроном.

— Килечки в томате возьми и хлеба “Бородинского”, — посоветовал Карпунин. — Килечка на черном хлебе — блеск, а не закусь!

Рабочий день заканчивался. Мы вернулись в кабинет Карпунина.

— Ну, с крещением тебя, брат Алексей, — поднял стакан Геннадий Федорович. — Чтоб ты работал с нами долго, хорошо и счастливо.

Когда разлили по второй, в кабинет заглянул Плитченко и присел поближе к любимой кофеварке. Алкоголь он тогда не употреблял, поскольку был в “завязке”, но охотно чокался чашкой чая с нашими стаканами.

А вскоре в карпунинском кабинете сделалось тесно и шумно — как-то незаметно чуть ли не вся редакция перетекла сюда, и “обмывание” с “крещением” затянулись до глубокой ночи. Впрочем, бывало, что некоторые на таких застольях засиживались до утра.

В 1988 году Геннадий Карпунин в “Библиотеке сибирской поэзии” Новосибирского книжного издательства выпустит свою последнюю поэтическую книгу избранных стихов. Открывает ее фотография Карпунина, сидящего на лавочке возле подъезда дома. На лице его несколько загадочная полуулыбка. А на титульном листе автограф:

*Алексею Горшенину*

**Взгляни на фото, Алексей,  
И ты постигнешь, не читая,  
О чем он мыслит, автор сей,  
В начале книги восседая...**

Намек у меня сомнений не вызывал. И вспоминалась известное место из “Одесских рассказов”: “Об чем думает такой папаша? Об выпить хорошую стопку водки...” Правда, если продолжать цитировать это место из Бабеля, то дальнейшее к Карпунину никак не могло относиться. Во всяком случае, “об дать кому-нибудь по морде” — совсем не про него. Агрессия не была ему свойственна. А с количеством выпитого он только добрел. Да и драться, по-моему, просто не умел. Как и всякий, наверное, “гнилой интеллигент”.

Однажды они с новосибирским критиком Виталием Коржевным, припозднившись за дружеским стаканом, возвращались домой. Жили по соседству, через двор. Путь от редакции, находившейся в те годы в громадном, с массивными колоннами, здании бывшего совнархоза, до дома был недолог — всего квартал с небольшим, если по улице Достоевского идти. Да две магистрали пересечь —

Красный проспект и Советскую. Существовала дорога и короче — через внутриквартальные дворы. По ней, как медведи через чащу, и ломанулись приятели. Стояла темная безлунная октябрьская ночь. Осадков не было, но сырости от предыдущих дождей хватало. Шли почти на ощупь. Ноги то и дело вязли в грязи и строительном мусоре, ботинки черпали холодную воду из луж. Приятели уперлись в кирпичную стену трансформаторной подстанции и решили передохнуть. Привалились к стене, закурили. Настроение, несмотря на осеннюю слякоть, лирическое.

— Смотри, Виталий, звезды! — удивился Карпунин. — На Красном проспекте, да и на Советской их разве когда увидишь? А здесь постороннего света нет, и хорошо просматриваются. Как в деревне. Виталий, вспомни, какие звезды в деревне. С кулак!

Коржев тоже был деревенско-крестьянского происхождения и, конечно же, помнил, что там за звезды. Однако развить тему им не удалось. Помешали два темных силуэта, неожиданно возникших из-за угла.

— Эй, мужики, закурить дайте! — без всякого выражения сказал один из них.

— Пожалуйста, пожалуйста! — с готовностью протянул Геннадий Федорович пачку сигарет, а Виталий Георгиевич вежливо чиркнул зажигалкой, свет которой выхватил из темноты две физиономии, печатью интеллекта отнюдь не отмеченные.

Тот, кто обратился за куревом, молча положил почти полную пачку себе в карман.

— Э, э, вы что, а нам? — возмутился Коржев.

— Щас и вам будет, козлы очкастые, — ухмыльнулся ночной тать и вдруг сделал резкое движение в сторону Карпунина. Тот согнулся пополам и получил еще один удар в лицо. Другая “тьнь” занялась Коржевым.

Перепало им знатно. Очнулись оба лежащими тут же, в осенней грязи, без часов, с вывернутыми карманами. Вокруг никого. Над ними по-прежнему ясное небо и звезды “с кулак”. Коржеву повезло — нашел в луже свои очки. Карпунин слепо шурился. Поскольку дом Коржева был ближе, а жена его — медик, пошли раны зализывать к нему. Напугали, разумеется, до полусмерти, зато получили профессиональную медицинскую помощь, были отмыты, напоены чаем. Остаток ночи Карпунин провел с Коржевым в воспоминаниях о деревенском детстве.

К детству и детям у Геннадия Федоровича отношение было особое. Как, впрочем, и у друга его — Плитченко. Они даже совместно написали и издали очень милую детскую книжечку, стихи из которой с восторгом воспринимали мои дети, а теперь вот и внук с удовольствием декламирует:

**Рано утречком спросонок,  
Умывался поросенок,  
Мылил спинку, мыл бочок,  
Ушки, хвост и пяточок...**

Вспоминаю один эпизод. Теплым августовским днем 1982, кажется, года на пороге моего редакционного кабинета возникла долговязая фигура в полинялой армейской форме, пыльных кирзовых сапогах и пилотке, с капитанскими погонами на плечах. Если б не очки, я б его и не узнал, наверное. Но это был Карпунин. Несколько новосибирских писателей (Николай Самохин, Виктор Крещик, Геннадий Карпунин) взяли на двухмесячные военные сборы. Служили “партизаны”, как их называли, под Новосибирском, где-то в районе поселка Пашино, жили в полевых условиях. Иногда отпускали на побывку в город. По пути домой Геннадий завернул в редакцию. Потом зашли ко мне домой (тоже было по пути). Пока жена готовила что-нибудь закусить-перекусить, Геннадий рассказывал про армейские будни. Да так увлекательно, что даже я заслушался, хотя к военной службе всегда относился, мягко говоря, холодно, а мой восьмилетний

сын Игорь и вообще с открытым ртом жадно ловил каждое слово. Уходя, дядя Гена подарил ему погоны старшего лейтенанта, которые на этих сборах он поменял на капитанские, и пилотку с пятиконечной звездой. Подарком Игорь страшно гордился, пилотку и погоны хранил и берег. Теперь в этой пилотке марширует по квартире его племянник и мой внук.

У самого Карпунина двое сыновей. Старшего, Александра, от первой жены, я почти не знаю, а вот младший Андрей вырос, можно сказать, на моих глазах. Достался он Ольге Мухиной (второй жене Карпунина) трудно. Многие месяцы лежала она “на сохранении” в роддоме, и Гена чуть ли не каждый день бегал ее проведывать. Нелегко было и после того, когда, наконец, Андрей благополучно родился. Но здесь Геннадий показал, на что способен настоящий любящий отец. Его хорошо знали в детской поликлинике, куда приводил он Андрюшку то на врачебные осмотры, то на прививки, в пункте детского питания, где брал для сына молочные смеси. С коляской его регулярно можно было видеть в Нарымском сквере неподалеку от своей девятиэтажки. А дома стирал, гладил пеленки, ползунки, распашонки, кормил сына из соски, купал. Не меньше внимания уделял Геннадий ребенку и когда тот вышел из грудного возраста. Я не помню, чтобы кто-то еще из знакомых мне “молодых отцов” так возился бы с дитем своим, отдавая ему практически все свободное время. А ведь и по работе, и по общественным делам был он немало загружен.

Начальный период жизни с новой женой оказался для Карпунина вообще весьма и весьма трудным. Уже сам уход из прежней семьи, где у него остался большой сын, для такого очень домашнего человека, как Геннадий, был страшно болезненным. Не стану углубляться в причины этого разрыва, но так случилось. И Геннадию было тяжело покинуть гнездо, которое сам же столько лет вил. Он уходил с чувством вины. Но и обратного пути у него, по-видимому, не было — труба любви властно звала его за собой.

Однако же, оставляя одну женщину ради другой, Геннадий не оставлял сына. Саша никогда не исчезал из поля его зрения и внимания. А после рождения Андрея Карпунин все делал для того, чтобы братья ими действительно оставались. И это, скажу, забегая вперед, ему (не без понимания и деятельного участия Ольги) в принципе удалось.

Непрост был дебют нового круга семейной жизни Карпунина и в бытовом плане. Как настоящий мужчина и джентльмен Геннадий уходил из прежней семьи с зубной щеткой и сменой белья, оставляя жене с сыном прекрасную трехкомнатную квартиру, где жил в одном подъезде с Виктором Крещиком и Николаем Самохиным. Довольно продолжительное время Геннадий обретался у Ольги в Академгородке, мотаясь каждый день туда и обратно в переполненных автобусах, пока не получил от Новосибирской писательской организации новую двухкомнатную квартиру, которую потом еще почти год менял, объединяя с Ольгиной жилплощадью.

Мы вместе получали ордера. Квартиры в этой новенькой панельной девятиэтажке на улице Железнодорожной предназначены были в основном для работников культурного фронта да городских и областных чиновников средней руки. Так я, например, оказался на одной площадке с семьей актрисы “Красного факела” и по совместительству дочери нашего главного редактора Анатолия Васильевича Никулькова Натальи. Наши с Карпуниным квартиры располагались в соседних подъездах, только у меня на восьмом, а у него на третьем этаже. Но обе выходили в одну сторону. С наших лоджий открывался чудесный вид на Нарымский сквер и позолоченные маковки Кафедрального собора. По утрам жителей дома будил колокольный звон. Он плыл над сквером, крышами частных домов за ним, мелодичной своей волной врвался в квартиры. Геннадий страшно любил это время. Он выходил на лоджию, закуривал и до последнего звука выслушивал колокольную музыку.

— Гена, с пробуждением! — орал я ему с высоты своего этажа, перевесившись через перила лоджии.

И он, задрав голову, отвечал мне приветственным жестом руки.

Ольга лежала на сохранении в роддоме, а Геннадий жил в новой квартире в полупоходных условиях, особо не обустриваясь, не сильно заботясь о быте. Обычное холостяцкое существование.

Зато обиталище это быстро превратилось в этакий, выражаясь сегодняшним языком, культурно-досуговый центр, где немало перебивало людей разных творческих специальностей. Преимущественно литераторов, разумеется. Впрочем, далеко не только профессиональных. Внешнее “угрюмство” Карпунина не отпугивало и молодую литературную поросль. Геннадий Федорович даже в застолье умел терпеливо выслушивать каждого. Он мог кивать головой, соглашаться, поддакивать, но в итоге оставался при своем, сокрытом от других. Случалось, пытались некоторые в процессе таких посиделок заручиться его поддержкой в публикации какого-то произведения (зам. главного редактора, все-таки), но результат, если, конечно, речь шла не о безусловно талантливой вещи, был нулевой. Геннадий все так же кивал, но никогда ничего прямо не обещал. Рассмотрим... подумаем... предложу редколлегии и т.д. и т.п. И спускал, как правило, на тормозах. Зачастую долго и нудно. Не хуже тертого бюрократа мурыжа автора, расправившего, было, крылья надежды за “рюмкой чая” в гостях у гостеприимного Карпунина.

Впрочем, и произведениям талантливым на пути к читателю приходилось тогда нелегко. Отбор был достаточно жесток. В первую очередь, в плане художественном (а не идеологическом, как, возможно, сегодня кому-то может показаться). Крупицы, “намытые” в редакторских кабинетах, проходили “экспертную оценку” у членов редколлегии, после чего главный редактор выносил свой вердикт. Конечно, главный мог что-то напечатать и своей волей и властью, но если вещь при этом оказывалась отнюдь не блеск, на заседании редколлегии, которую составляли далеко не только сотрудники редакции, шефу, невзирая, как говорится, на лица, доставалось по первое число.

Там, в квартире Карпунина на улице Железнодорожной, я познакомился, в частности, и с одноклассником Геннадия по Томскому политехническому институту Виктором Колупаевым. До этого я знал его только заочно, по произведениям, которые своей лиричностью выделялись из общего ряда советской фантастики. А повесть “Жизнь, как год” я лично готовил к публикации в нашем журнале. Позже я напишу литературный портрет Виктора Колупаева, где назову его “солнечным фантастом”. Но он и человеком оказался “солнечным” — распахнуто-живым, веселым, общительным. Таким в памяти моей и отпечатался.

В 1985 году эпопею с обменом Карпунин, наконец-то, завершил и переехал со всем семейством (младший сын к этому времени уже родился) в другую, теперь трехкомнатную квартиру, которая находилась в соседнем доме. Она станет для Геннадия Федоровича последним причалом, но до этого момента пройдет еще почти полтора десятилетия, а пока новосел, прочно и основательно бросая якорь, ремонтировал свое жилище, обустривался.

Это была отдельная песня. Бесконечная, как песня акына, в которой, однако, прекрасно проявлялся, узнавался и самовыражался сам ее творец — Геннадий Карпунин.

В этом ремонте и обустройстве Карпунин отображался прежде всего как исконно русский, деревенско-посадского замеса мастеровитый мужик, который с равным успехом мог и песню сложить, и своими руками что-то нужное, полезное для дома сделать.

Квартира, сама по себе, была неплохая: в кирпичном доме, с просторными комнатами и приличной кухней, отдельными ванной и туалетом, большой лоджией. Но досталась она Геннадию в результате многоходового сложного обмена в весьма запущенном состоянии. Там что-то отскакивало, здесь сыпалось, тут валилось на голову, сантехника ревела, свистела, пела на все голоса. Положение усугублялось тем, что в те времена тотального дефицита уже сам ремонт в принципе становился большой, часто непреодолимой проблемой. Ее решению Геннадий посвящал уйму своего свободного времени.

Все он делал сам, своими руками: шпаклевал, красил, клеил обои, менял старые розетки и

выключатели, ставил новые замки, шпингалеты, защелки, заделывал щели в полу, ремонтировал рамы и двери, ладил антресоли, полки и шкафчики в прихожей и коридорах...

Сегодня в этом плане все гораздо проще — нанял соответствующих людей, заплатил и следил только, чтобы сделали все как надо и в срок. А тогда и подобных строительно-ремонтных бригад, готовых по первому зову новоселов откликнуться, почти не было, да и нанять их мог далеко не каждый желающий. И дорого, и материалы, опять же.

Имелась еще одна важная причина, по которой Геннадий все делал сам. Он любил работать руками. И умел. Я часто тогда забегал к Карпуниным. И почти всегда застаивал Геннадия за каким-нибудь занятием. То он орудовал отверткой, вворачивая шурупы, то пилил или отстрагивал какую-нибудь деревяшку, то возился с обоями...

“Смотри как красиво, — говорил он, любовно разглаживая по стене в коридоре только что наклеенный рулончик светло-коричневых обоев с узором деревянной текстуры. — Будто шпоном настоящим отделано”. И чувствовалось, что это занятие доставляет ему истинное наслаждение.

Забегая вперед, скажу, что через десяток лет, когда мы собственными силами будем ремонтировать новое помещение редакции “Сибирских огней” на улице Каменской, Карпунин нам, тогдашним сотрудникам, покажет настоящий мастер-класс по наклеиванию обоев. Получалось у него просто виртуозно. И я невольно думал, глядя на него, ловко управляющегося с капризными обойными полотнищами, что он вполне может прокормиться и этим делом.

Особое место в ремонтном марафоне Карпунина занимали стеллажи. Книг у Геннадия Федоровича было много, очень много. Во временном обиталище на Железнодорожной они по большей части отлеживались до лучших времен в больших картонных коробках. Пришла пора их где-то размещать. И Геннадий взялся за сооружение стеллажей. В качестве материала на полки и стойки шли разные вещи. Подчас даже и несколько экзотические. Например, чертежные доски, которые Геннадий покупал в магазине канцелярских принадлежностей, а потом аккуратно распиливал пополам. Но большую часть нужных деревяшек он добыл на стройке, где сторожил от расхищения социалистическую собственность один молодой прозаик и автор “Сибирских огней”. Боря Жиганов вошел в положение и почти бескорыстно (всего за пару бутылок) позволил заместителю главного редактора увезти на санках некоторое количество казенной древесины. Стеллажи Карпунин сооружал неспешно, скрупулезно, тщательно обмозговывая, выверяя и вымеряя каждую дощечку-деталь, каждый пазик в ней. Остро очиненный огрызок карандаша за ухом, непрменный атрибут любого столяра, смотрелся у Геннадия так же органично, как и авторучка в его руках. Стеллажи росли ввысь, ветвились по стенам, обретая очертания городских улиц, которые тут же заселялись, как людьми, книгами. Да и сам этот процесс чем-то напоминал возведение города — книжного города.

Подчас, когда в голову приходила какая-то интересная мысль, Геннадий откладывал инструмент, присаживался к своему “историческому” столу и что-то записывал на листках бумаги. За столярным делом хорошо думалось и о деле литературном, творческом. Впрочем, творчество было и там, и там, как в системе сообщающихся сосудов. И известная строка Маяковского “землю попашет — попишет стихи” для Карпунина из поэтического образа превращалась в обыденную реальность его существования.

Время от времени приостанавливал он свою ремонтно-строительную работу, чтобы перекурить. Курильщик он был заядлый, и, имея такую возможность, сигарку просто изо рта бы не вынимал (что, собственно, в редакционном его кабинете и происходило), но маленький Андрюшка диктовал свои условия, и Геннадию курить приходилось в форточку в зале или на кухне. Долговязый, худой, в старенькой клетчатой рубашке с нацеплявшимися на нее мелкими стружками и опилками, он стоял вполоборота к окну, пускал в форточный проем сигаретный дым и походил в эти моменты на героя собственного же стихотворения “Какой хороший человек...” в короткую минуту отдыха среди

гущи насущных житейских дел.

**А он стоял, глядел на снег  
И в форточку курил в прихожей...  
Какой хороший человек  
Приехал к нам! Какой хороший!**

Неспешность, основательность, выверенность и даже некоторая въедливость присутствовали во всем, чем бы Карпунин ни занимался. В литературной работе, безусловно, тоже. Он и рукописи так же читал, хотя некоторые из них достаточно было, как мне, во всяком случае, казалось, просто бегло пролистать, и корректуры, из-за чего, случалось, запаздывал к сроку, чуть ли не срывал графики выпуска журнала, что было недопустимо. Ответственный секретарь нервничал, главный редактор гневался; оба они Геннадия “пришпоривали”, он взвинчивал темп, а за очередным верстовым столбом графика все возвращалось на круги своя, и карпунинская лошадка продолжала неспешно трусить по рукописным развалам редакции. Зато Никульков потом, подписывая очередной номер журнала в печать, мог позволить себе лишь глянуть его “по диагонали”, зная, что Карпунин окончательно “вылизжет” все тексты, избавит их от редакторских огрехов и “блох”.

Но, пожалуй, особенно ярко “фирменный” стиль работы Карпунина проявился в его исследованиях древнерусских текстов, и в первую очередь, конечно, “Слова о полку Игореве”. Кстати, значительная часть того, что вошло потом в книгу Геннадия Карпунина “По мыслену древу”, родилось именно в этой квартире на улице Советской, за древним канцелярским столом, впитавшим дух нескольких редакционных поколений “Сибирских огней”.

У меня хранятся обе прижизненные книги Карпунина, посвященные великому древнерусскому памятнику с дарственными надписями автора. На одной — “Жемчуг “Слова”” — шуточный стихотворный автограф:

**Тебе, Горшенин Алексей,  
Дарю я “Жемчуг Слова” сей.  
Живи и не дразни гусей.  
Младой Горшенин Алексей.**

*Искренне твой Г. Карпунин*

*в лето 1491-ое, 15 июля*

*г. Новгород-Сибирский.*

В другой — “По мыслену древу” — рукой Геннадия начертано:

**Горшенину Алексею —  
человеку Божьему**

**С нами крестная сила**

**Аминь!**

*В лето пятое от  
начала перестройки*

*Г. Карпунин*

*1.02.90*

## г. Новосибирск.

Обе книги вышли в восьмидесятых годах, хотя увлечение “Словом” началось у Карпунина еще в 1975-м. Как это произошло, я достаточно подробно рассказывал в очерках о творческой судьбе Карпунина “Что я делал? Что думал? Чем жил...” (“Сибирские огни”, 1999, №1) и “Березовой веточкой машет вослед...” (А. Горшенин. “Лица сибирской литературы” — Новосибирск, 2006), поэтому повторяться не буду. Скажу только, что “Слово” для поэта Карпунина, к этому времени уже почти отошедшего от активного стихотворчества, стало тем самым камнем преткновения, не попытавшись разгадать тайну которого, он не мог двигаться дальше по литературной стезе. А процесс разгадки, как оказалось, занял всю оставшуюся жизнь. Не в последнюю очередь из-за природной карпунинской скрупулезности и дотошности, пристального внимания к мелочам и деталям, к незначительным, на первый взгляд, штрихам и частностям, которые нередко преворачивали уже сложившуюся картину и отодвигали горизонт.

Исследовательская эпопея знаменитого литературного памятника и началась у Карпунина с того, что, взявшись однажды читать “Слово”, Геннадий сразу обратил внимание на то обстоятельство, что одни и те же места в памятнике разные исследователи в своих комментариях толкуют совершенно по-разному. И он решил разобраться, где же истина. “Разбирательство” рождало собственные размышления и догадки “по поводу”. А поскольку Карпунин “пробовал на зуб” в “Слове” каждую строку, словосочетание и даже союз, предлог или частицу, расширялось и прояснялось собственное видение объекта исследования. И довольно быстро стало очевидно, что оно во многом не совпадает с устоявшимся в классической “словистике” взглядом. Геннадий и не претендовал на фундаментальную точность и научность своего исследования. Он подходил скорее как литератор-практик, пытающийся передать читателю свои ощущения как от чтения самого “Слова”, так и литературы, к которой приходилось обращаться за разъяснениями. Конечно, как всякий неопит он действовал во многом, что называется, методом тыка, игнорируя сложившиеся в ученом мире системы и стереотипы. Но зоркое поэтическое (и редакторское) око Карпунина подмечало при этом многое, что ускользало иной раз от академической науки. В чем и было у него перед ней серьезное преимущество.

Преимущество и в том, что, не являясь человеком научной среды, Геннадий не оглядывался на ее авторитеты и бесстрашно полемизировал (а то и напрочь опровергал некоторые их доводы) даже с такими мировыми светилами, как академики Б. Рыбаков и Д. Лихачев.

Отношение разных ученых к изысканиям Карпунина было неоднозначным. Тот же Лихачев, называя исследование Геннадия спорным, тем не менее, поддержал его. В “Литературной газете” от 25 января 1984 года академик Лихачев, в частности, писал:

“Я, безусловно, высказался за издание этой работы... хотя в ней и содержались спорные суждения, а по отдельным вопросам автор (даже не филолог по образованию) прямо полемизировал со мной. Но спор в науке — явление нормальное и необходимое, и тут не должно быть места “чинам и званиям””.

Однако далеко не все научные оппоненты Геннадия были настроены столь же доброжелательно. Что приводило к серьезным трудностям в публикации карпунинских заметок о “Слове”. Дело в том, что на отзыв они посылались издателями как раз тем самым ученым, с мнением которых Карпунин был не согласен и работы которых подвергал весьма суровому критическому разбору. Делалось это вполне в соответствии с царившей тогда в советской жизни практикой: жалобы переправлять для рассмотрения тому, на кого жалуешься.

И неизвестно, увидело бы вообще свет исследование Карпунина, если б, с одной стороны, не авторитет и научная толерантность Лихачева, а с другой — не редакторская смелость и решительность Никулькова, взявшего в конечном итоге ответственность за публикацию на себя. Как бы там ни было, но первые части исследования о “Слове о полку Игореве”, ставшие основой

его будущих книг, в 1978 и 1980 годах в журнале “Сибирские огни” были напечатаны.

Публикации сразу же обратили на себя внимание. Прежде всего, местной литературной общественности и, конечно же, ученого люда.

Это сегодня новосибирские филологи, ударенные в структурализм и прочую формалистику, одержимые разъятием алгеброй гармонии, страшно далеки от живой литературной и языковой практики. А три десятка лет назад все было несколько иначе. Существовал единый общероссийский литературный процесс. Была в чести сибирская литература как составная и неотъемлемая его часть (а не современное невразумительное понятие — “сибирский текст”). Сибирскими (да и не только) учеными она активно изучалась, являлась главным предметом и магистральной темой их исследований, результаты и выводы которых отражались затем в диссертациях на соискание различных ученых степеней. И ученые, в частности, Института филологии Сибирского отделения АН СССР, имели тесные контакты с писателями и издателями, живо интересовались их творческими поисками, охотно участвовали в различных литературных акциях, приглашали литераторов на свои научные конференции (я и сам на них был неоднократно. — *А.Г.*). Была, в общем, тесная такая смычка, имевшая, кстати, глубокие, еще со времен первых шагов журнала корни.

Одним из самых знаменательных событий литературного Новосибирска 1970-1980-х годов были традиционные годовые обсуждения “Сибирских огней”. Журнал имел тогда самый большой среди провинциальных российских собратьев тираж, пользовался огромной популярностью, и на обсуждениях собиралось полно разного народа. Достаточно просторный актовый зал Новосибирской писательской организации на улице Каменской возле Центрального рынка не вмещал всех желающих. Академгородковские приходили всегда чуть ли не всем коллективом и так же дружно выступали, давая оценки как отдельным публикациям, так и целым направлениям и тенденциям работы журнала. Обсуждения проходили жарко, интересно. Естественно, что и мимо такой неординарной во всех отношениях публикации, как работа Карпунина о “Слове”, они не могли пройти. Геннадий, безусловно, жаждал увидеть свою работу в зеркале мнений ученых-профессионалов. Однако надеялся на суждения объективные и справедливые. Вместо этого получил форменный разгром.

Так, выступление доктора филологических наук, профессора В.Г. Одинокова сводилось в основном к тому, что дилетант не вправе лезть в заповедный научный огород и пытаться возделывать там свой овощ, что негоже нарушать существующие в “словистике” правила, традиции, иерархии, выбиваться из проложенного научного русла. Тем более задевать научных “небожителей”. В общем, Богу — Богово, кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево. По существу же конкретных поисков и догадок автора “Жемчуга “Слова”” профессором не было сказано почти ничего.

— Да вы вообще работу-то мою читали? — время от времени перебивал Одинокова одной и той же обиженной фразой Карпунин. Обычная его мрачноватость по мере дальнейшего витийствования оппонента густела, превращаясь в черноту грозовой тучи, готовой вот-вот взорваться огненными сполохами. Но он сдержался, ответив лишь прямо с места, когда председательствующий дал Карпунину ответное слово о нежелании “разводить полемику” с тем, кто “не утруждает себя хоть немного вникнуть в предмет спора”.

Как бы там ни было, но удар Геннадию был нанесен чувствительный. Стресс он испытал немалый. Переживал долго. Можно было, руки опустив, забросить всю эту “словистику” к чертовой матери. Пусть ею ученые снобы занимаются, раз считают, что это только их вотчина. Но не забросил. “Слово” уже крепко держало его в плену своей магии, и в этой первой очной сшибке ученому “рыцарю” не удалось выбить Карпунина из седла. Стычек впереди у него предстояло еще немало, но они будут Геннадия не только закалять, но и многому учить: исследовательской культуре, отношению к научным традициям, искусству полемики, умению выстраивать отдельные находки и догадки в прочные логические и концептуальные цепочки... И если сопоставить Карпунина-

“словиста” в начале его пути с ним же в конце восьмидесятых, то разница будет существенной.

Что же касается не “своего огорода”, то время все расставило на свои места, и в “огороде” этом плоды исследований Геннадия Карпунина заняли достойное место. О чем говорит хотя бы тот красноречивый факт, что фундаментальная пятитомная “Энциклопедия “Слова о полку Игореве”” (РАН, Институт русской литературы (Пушкинский дом), С.-Петербург, 1995) посвятила Карпунину обширную статью, где отмечается, что работы его отличаются нетрадиционным и оригинальным взглядом на проблему, полемичностью и... поэтичностью. Любопытно, что в различных статьях этой же энциклопедии на работы Геннадия ссылаются по разным поводам около четырех десятков раз. Такой степени цитируемости мог бы позавидовать любой ученый. Большой статьи-персоналии удостоился Карпунин и в кратком энциклопедическом словаре М.Г. Булахова “Слово о полку Игореве” в литературе и искусстве” (Минск, 1989), где также признается его большой вклад в изучение “Слова”.

Несмотря на некоторые, подчас весьма чувствительные “потряхивания” судьбы, 1980-е стали самыми, пожалуй, звездными годами жизни Карпунина. Он активно публикуется, издает книги, трудолюбиво вьет новое семейное гнездо, занимается общественной деятельностью — его выбирают руководителем партийной организации новосибирских писателей, членом горкома, он депутат горсовета, участвует в различных комиссиях, часто выступает перед читательской аудиторией. С ним и посидеть-то накоротке за рюмкой чаю не всегда из-за этого удавалось.

А вторая половина 1980-х оказалась для него и вовсе знаменательной. И не потому, что началась пресловутая горбачевская “перестройка”, ставшая началом конца великой страны, а по той причине, что именно тогда Геннадий достиг пика своей редакционной карьеры, взяв в свои руки штурвал “Сибирских огней”. Как это происходило — история отдельная.

Каждый из ближайших предшественников Карпунина на капитанском мостике журнала, и Смердов, и Никульков, проработал главным редактором чуть более десятка лет. Но если Александр Иванович бразды правления отдал Анатолию Васильевичу добровольно, “по-родственному”, так сказать — дочь Никулькова была замужем за сыном Смердова, то Анатолий Васильевич со своего поста уходил вынужденно и с большим шумом. Тут, как сказали бы французы, — шерше ля фам. Никулькову, впрочем, и искать ее было не надо. Имелась своя, доморощенная. Сотрудница редакции. На ней и погорел. Вовремя не сориентировался, не понял, что пора не один год продолжавшуюся связь прекращать. И сотрудница ему о том же говорила, даже намекала о новом любовнике. Но, что поделаешь, — любовь зла и глаза застит. Тем более если объект любви на двадцать лет младше. В общем, нет, чтобы уйти в сторонку, а Анатолий Васильевич удила закусил и любовное преследование затеял. Да не учел женского коварства, того, что женская любовь — палка о двух концах: один сладок, а другой бьет больно. Так и получилось. Бывшая возлюбленная, устав от бессильных попыток своего начальника вернуть все на круги своя, как настоящая советская женщина написала заявление в партийную организацию, где просила оградить ее от домогательств бывшего начальственного любовника, раскрыв заодно давно и без того всем известную тайну их связи и раскрасив ее с истинно художественным мастерством.

Партторгом в это время был Геннадий Федорович Карпунин, и расхлебывать щекотливое дело выпало ему. Примирить полюбовно стороны не удалось. Каждая принципиально стояла на своем: он не хотел ее терять, она — возвращаться и требовала наказания по всей партийной строгости. Партторгу ничего не оставалось, как давать заявлению официальный ход и созывать собрание. Собрание состоялось. Обиженная сотрудница рассказывала все без утайки. Народ в зале требовал еще большего. Выходило чуть ли не как у Галича в песне про Парамоновну: “...А из зала мне кричат — давай подробности!” От новых “подробностей” зажигались уши и сами собой опускались глаза. Однако не у всех. Некоторые, в первую очередь отвергнутые Никульковым авторы, откровенно наслаждались разгоревшимся скандалом. Присутствовавшие представители вышестоящих партийных органов пребывали в растерянности. Такой “сор” обычно из избы не выносят...

Короче говоря, в итоге коммунисты оказались, как и следовало ожидать, на стороне слабой угнетенной женщины, и собрание то поставило крест на главном редакторе Никулькове. Пост он свой покинул. И начались страсти по заполнению освободившейся вакансии.

Казалось бы, все ясно, как три рубля: кому еще, как не Карпунину, проработавшему в редакции два десятилетия и являвшемуся весь срок правления Никулькова его правой рукой, по логике вещей занимать место главного редактора? Но логика номенклатурных назначений (а должность главного редактора “Сибирских огней” к партийной номенклатуре и относилась) всегда отличалась от нормальной житейской. Согласно ей заместители почти никогда не становились главными. Человек со стороны был почему-то предпочтительнее.

Но и найти такого было не так-то просто. Дело ведь очень специфичное, сложное и тонкое. Здесь и профессионализм важен, и вкус художественный, и писательский авторитет, и чутье идеологическое. Штучная, в общем, должность. Потому и претендентов — раз, два и обчелся. Самым реальным и достойным был Плитченко. Но он (к тому времени в редакции несколько лет не работавший) уже занимал должность главного редактора Новосибирского книжного издательства и на что-то другое не претендовал. Единственной альтернативой оставался Николай Самохин.

Прекрасный прозаик. Работал когда-то в “Сибирских огнях” ответственным секретарем. Тоже, стало быть, не с улицы человек. Николай в редакцию частенько забегал. Редактировал я и его произведения. Болезненно самолюбивый был мужичок, нервный. Весь как сжатая пружина, готовая неожиданно и непредсказуемо распрямиться. Вещь в себе, всегда готовая бурно выплеснуться наружу. Писал веселые рассказы, а улыбался редко. Нездоровая гримаса с лица не сходила. Создавалось ощущение, что у него постоянно что-то болит: то ли живот, то ли зубы, то ли разлившаяся желчь покоя не дает. Но дело, конечно, не во внешнем виде. Трезвый Карпунин со своей мрачной флегматичностью выглядел нисколько не лучше. Тут они были два сапога пара. Хотя с другой стороны — небо и земля. Взрывной, энергичный, подвижный живчик Самохин резко контрастировал с неспешным, раздумчивым Карпуниным. Как в известном мультике — мартышка и удав.

Они и жили поначалу, пока Карпунин не сошелся с Ольгой, в одном доме, на одной площадке. Карпунину, как уж так получилось — не знаю, выделили более удобную по планировке и несколько большей площади квартиру, и Николай сильно по этому поводу обижался и завидовал: почему это редактору отдела прозы (Карпунину) досталась более благоустроенная жилплощадь, чем ему, ответственному секретарю и начальнику Геннадия. С тех пор в их отношениях наступил “ледниковый период”. И если юморист Самохин воспринимал его вполне серьезно, то серьезный исследователь Карпунин очень даже с юмором. Помню, мы чуть ли не к каждому празднику выпускали редакционную стенгазету с веселыми материалами, шутками, прибаутками, в создании которой Геннадий принимал всегда самое активное творческое участие: сочинял шуточные стихотворные рассказы, эпиграммы, реплики. Я, как мог, подкреплял это прозой. Для одной из таких стенгазет Геннадий сочинил целую ироническую поэму, в центре которой оказался почему-то Самохин, а рефреном была строчка — “Самохин, он завистливый ведь был...”

— Чего ты его так? — недоумевал я.

— Так он действительно по любому поводу каждому завидует! — отвечивал Геннадий.

Насколько это было правдой, судить не берусь, но теперь вот два бывших соседа по лестничной площадке выходили на ристалище, где в качестве вождя призана разыгрывалась должность главного редактора “Сибирских огней”.

За каждым из них стояли свои силы. Самохин был ставленником обкома и Новосибирской писательской организации, давно мечтавшей сделать журнал своим, полностью “карманным” органом. За Карпуниным была редакция, которая не желала быть под “варягом”.

Страсти разгорелись нешуточные. Еще всего несколько лет назад ничего подобного не было бы и в помине. Обком как истина в последней инстанции назначил бы, остальные, включая редакцию, взяли бы “под козырек”. Но сейчас, в самом начале 1987 года, когда провозглашена “перестройка” и на каждом углу трубят о “гласности” и “ветре перемен”, партийным товарищам, не отстававшим от своего генсека, тоже приходилось играть в демократию. Поэтому, не мудрствуя лукаво, обком обе стороны призвал “к барьеру”.

“Барьером” служил ряд составленных впритык друг к другу столов в кабинете председателя Новосибирской писательской организации на улице Каменской, по обеим сторонам которых сидели “противники” — работники редакции во главе с Карпуниным и Самохин в окружении своих “попутчиков” и “сочувствующих”. Просторный кабинет на сей раз был тесен от многолюдства. Кроме редакционного коллектива, писателей, присутствовал здесь едва ли не в полном составе и весь идеологический отдел обкома. В дверях толклись журналисты в предвкушении сенсации.

Сегодня, по прошествии более двух десятков лет, не помню всех подробностей “поединка”. Помню, что главный наш критик Николай Николаевич Яновский, взявший сторону Самохина, заявил, что Николай Яковлевич — писатель европейского масштаба, на что присутствовавший тут же Никульков с сарказмом парировал — в данном случае куда важнее масштаб профессионально-редакторский. Была еще какая-то словесная перепалка. Потом “заслушали” мнение работников редакции. Мы вставали, не дожидаясь приглашения, друг за другом и четко, почти по-военному говорили практически одно и то же — Карпунина знаем много лет как прекрасного работника и товарища, главным редактором видим только его и ни с кем другим работать не будем. При этом в голосе у каждого была такая решимость, что насчет “не будем”, сомнений, наверное, ни у кого не оставалось. В общем, таким монолитом мы тогда смотрелись. И это, видимо, подействовало.

Обком взял недельный тайм-аут на размышление. Мы с Сашей Романовым укатили в Москву каждый по своим делам (я, помнится, принимал участие в расширенной редколлегии “Литературной газеты”). А потом, встретившись на Комсомольской 13, в Союзе писателей РСФСР, узнали, что буквально только что Карпунина утвердили в должности главного редактора “Сибирских огней”. Мы, конечно, отметили это дело. А потом решили поздравить Геннадия. Время к полночи. Мы с Сан Санычем по залитой огнями улице Горького спешим на Центральный телеграф. Долго дозваниваемся по “междугородке”. Наконец, нас соединяют. Мы наперебой орем нетрезвыми голосами свои поздравления, в ответ какой-то “выжатый” голос Геннадия: “Я так устал, мужики, за эти дни, что уже и не рад ничему”. И тут же с легкой завистью: “Хорошо вам там, в свободном полете. Третьим возьмете?” — “Открывай краник, подставляй стакан!” — радостно орем мы с Сан Санычем, тоже сожалея, что нет с нами рядом сейчас нашего друга и собутыльника.

С уходом из редакции Плитченко, совпавшего с началом “перестройки”, центр интеллектуального общения переместился в кабинет Романова, занявшего место ответственного секретаря. “Перестройка” в стране началась, как известно, с искоренения алкоголизма. Ну а уж за распитие на производстве грозила и вовсе суровая кара. По сему поводу руководители организаций получили соответствующие распоряжения. Даже всегда лояльно относившийся к этому Никульков — лишь бы дело не страдало, а оно не страдало у нас никогда, — стал строжиться и грозить пальцем — ужо вам! Но, как говорится, голь на выдумки хитра, и выход мы нашли. Еще в 1982 году, на 60-летний юбилей “Сибирских огней”, кто-то подарил редакции большой электрический самовар. Некоторое время он пылился в шкафу с сувенирами, потом каким-то образом оказался в кабинете Романова. И тоже стоял без дела, пока я однажды не предложил заливать туда портвейн. Открыл краник, налил чашечку. Сидишь, прихлебываешь, как чай. Удобно. И никаких подозрений. Действительно никаких. Сколько раз во время такой “трапезы” ни заглядывал Анатолий Васильевич, у него и мысли не возникло, что в чашках не чай. А поскольку сам он чаи по кабинетам не имел привычки гонять, то уличить никак нас не мог. Вот и сидели безбоязненно “у самовара я и моя Маша”: то есть обычно я, Карпунин, Романов, а за Машу время от времени выступала Нелли Михайловна

Закурина. Этот самый самовар и имели в виду мы с Сан Санычем, когда кричали в телефонной будке Центрального телеграфа: “Открывай краник!”

Бытует мнение, что новая метла должна обязательно по-новому мести. Однако каких-то кардинальных перемен при новом главном редакторе не случилось. Во всяком случае, поначалу. Издательский процесс десятилетиями был отлажен, и ставить его с ног на голову не имело смысла. Произошли некоторые внутренние перестановки. Например, поменял Карпунин нас с Закуриной местами: ее поставил во главе поэтического, а меня — прозаического отделов. Романов стал его заместителем, а ответственным секретарем Карпунин сделал (единственная, пожалуй, неожиданность) бойкого молодого фантаста, Виталия Пищенко.

Этот двухметровый детинушка с лошадиной физиономией и такой же улыбкой в стенах редакции смотрелся диковато, но по сему поводу нисколько не комплексовал. Ему было некогда. Он днями “висел” на телефоне, названивая в Москву и другие города — ткал организационную паутину своего будущего детища под названием Всесоюзное творческое объединение молодых приключенцев и фантастов (ВТО МПФ), вызывая ярость главбуха Новосибирского книжного издательства, которому журнал тогда принадлежал как производственная единица. За месяц Пищенко наговаривал столько, что блюстительница государственной копейки хваталась за голову.

Были и другие перемены, но они носили больше творческий или идеологический характер. Декларированные в начале перестройки демократизация и гласность обретали подчас и вполне реальные очертания. Исчезли некоторые идеологические табу. О многом можно было говорить и писать не оглядываясь. Журналы взялись дружно “возвращать” произведения опальных некогда авторов. Кое-кого “возвратили” и мы. Напечатали никогда не публиковавшуюся “Щепку” В. Зазубрина с моим предисловием и еще ряд его практически не известных художественных и публицистических произведений. “Щепку” перепечатал “Наш современник”, ряд других журналов. Опубликовали большие стихотворные подборки “харбинцев” А. Несмелова и А. Ачаира, прозу А. Хейдока, В. Шаламова. В общем, по мере возможности, лепту свою внесли и от других журналов не отстали.

Потепление идеологического климата сказалось и на публицистическом разделе журнала. Появилось немало острых материалов по трагической истории Сибири 20-30-х годов, экологии.

Заметно прибавилось материалов “духовных”. И не только православного характера. Публиковали, с одной стороны, материалы, посвященные празднику славянской письменности и культуры или М. Чевалкова, а с другой — Е. Блаватскую, Н. Рериха. Даже рубрику “Духовное наследие родины” завели. Сам Карпунин в ней не выступал. Став главным, он вообще публиковаться в журнале перестал, хотя и над “Словом” продолжал трудиться, и к иным древним литературным памятникам присматривался. Писал “в стол”. На уговоры что-нибудь обнародовать — не поддавался. Считал не этичным.

Появились и другие либо хорошо забытые старые (юмористические “Веселые огоньки”, для детей “Туесок”), либо совершенно новые рубрики. К последним принадлежала и “Обратная связь”, где публиковались читательские письма на разные темы, в том числе и отзывы о работе самого журнала.

Своеобразной фишкой стала начавшаяся в 1989 году и растянувшаяся на несколько лет публикация “Исторического обозрения Сибири” П. Словцова, до этой поры более века не переиздававшегося. Издание XIX века любезно предоставил нам член нашей редколлегии, известный поэт и переводчик Анатолий Преловский, а готовил публикацию уже поэт новосибирский, а в то время ответственный секретарь журнала Виктор Крещик. Кроме журнального, он осуществил еще и два книжных издания (одно в Москве) и Словцов, похоже, стал с тех пор делом его жизни.

В общем, журнал заметно оживился, стал менее идеологичен, но более духовно наполнен. Сказывалось, конечно, влияние общественного климата, но и, безусловно, личность главного

редактора, на котором, как известно, замыкается практическая реализация всех начинаний. Традиционалист по складу мироощущения, достаточно трудно переваривающий новое (таким, во всяком случае, он мне раньше казался), Геннадий, возглавив журнал, не оказался, как можно было ожидать, ретроградом. Он охотно впитывал и воспринимал новые веяния, поддерживал как интересных начинающих авторов, так и тех талантливых, кто по каким-либо причинам (чаще всего идеологическим) оставался долгое время за бором нашего издания. Так, к примеру, он вывел “из тени” целую группу поэтов, начинавших еще в 1960-х годах вместе с ним в литобъединении И. Фоякова: В. Малышева, А. Соколова, И. Овчинникова, А. Денисенко, В. Ярцева и некоторых других.

Правда, принимал он иной раз за новаторство и смелость агрессивный авантюризм. Как вышло это с критическими заметками Игоря Аристов.

Этот совсем еще молодой человек, студент Литинститута, принес в редакцию статью “Городская литература. Попытка разоблачения”, где камня на камне не оставлял от творчества практически всех новосибирских писателей. И делал это настолько же бездоказательно по существу, насколько и хамски по форме. Геннадий дал мне ознакомиться с материалом.

— Но это же ни в какие ворота не лезет! — сказал я. — Во-первых, совершенно несправедливо, а во-вторых, если опубликуем, обидим разом всю нашу писательскую организацию.

— Вот и хорошо, вот и вставим им фитиль! Пусть знают, что думают о них рядовые читатели! — возбужденно возразил Карпунин. — И журнал заодно лишний раз прозвучит!..

— С чем? С этим пасквилем? И чего вдруг ради сей недоучившийся студент станет говорить от всей читательской аудитории?

— Ага, боишься! Так и скажи, что полемики испугался.

— Ладно, — предложил я компромисс, чтобы свернуть неприятный разговор. — Давай напечатаем, но с моим комментарием.

На том и порешили. Комментарий вылился в довольно обширную статью под названием “Миф о “городской” литературе, рожденной в “подполье” начинающего литератора”, где я постарался дать отпор облыжным обвинениям Аристов и объективную оценку творчеству наших писателей. Дуэль имела определенный резонанс, но у меня осталось ощущение, что я выстрелил из пушки по глупому воробью. Так, в общем-то, и оказалось. Аристов на страницах “Сибирских огней” больше не появлялся. Хотя имя его в прессе мелькало. Правда, по другим поводам. Молодой человек ударился сначала в политические игрища, потом взялся “спасать” “обиженных вкладчиков” какой-то финансовой пирамиды, сам погряз в этом мутном болоте и тихо куда-то исчез с горизонта. А в редакцию после появления его опуса с моим ответом пришло большое письмо, автор которого обвинял меня в том, что в полемике с Аристовым я затыкаю рот молодому дарованию, не даю резать ему правду-матку и так далее в том же духе и примерно в таком же, как у Аристова, тоне. И как ни пытался я убедить Карпунина, что в письме сторонник моего оппонента меня фактически поливает грязью и даже из чисто этических соображений это не следует публиковать, письмо по распоряжению Геннадия все равно было в “Обратной связи” напечатано. Естественно, я тогда на Карпунина сильно обиделся.

И это был не единственный случай, когда нашего главного редактора, пытавшегося удержаться на демократическом стержне, заносило. По этой же, видимо, причине, изменяли ему порой обычно свойственные ему выверенность и взвешенность. А иногда и элементарная последовательность.

Скажем, вопрос о любой более-менее значительной публикации сначала обычно решался в принципе: главный редактор изучал предложения и оценки сотрудников редакции и членов редколлегии и выносил свой вердикт. Потом начиналась конкретная работа с текстом произведения

и его автором. Геннадий стал требовать, чтобы ему предоставлялся уже отредактированный, готовый к публикации текст, заранее его не читая, а уж потом знакомился с ним, “пушал” или “не пушал”. То есть фактически ставил все с ног на голову, чем иной раз сильно затруднял работу и отношения с авторами, логично полагавшими, что, раз дело дошло до конкретной редакции, значит, в принципе вопрос решен.

Впрочем, своих “закидонов” хватало и у предшественников Карпунина, и он в этом плане ничем особо не выделялся. Тем более что ветерок горбачевской демократии еще не окреп до силы социальной бури, способной на большие разрушения. В целом же практически все пока оставалось на своих местах: как в жизни вообще, так и в литературе, в издательском деле в частности. А бои шли в основном местного значения. При Карпунине, например, появились первые ласточки “сибогневского” суверенитета — собственные профсоюзная и партийная организации. И это уже казалось достижением.

Большие неудобства доставляла лютовавшая тогда антиалкогольная кампания. Звон стаканов в конторе теперь уже не звучал. Праздники на рабочих местах не отмечались. Да бог с ними, с праздниками! Теперь проблемой становились даже традиционные посиделки после “больших хуралов” — редколлегий с участием иногородних членов. Редакция располагалась в бывшем здании Совнархоза на Красном проспекте, где, кроме нее, квартировали десятки других организаций, а сама она находилась в одном коридоре между “Мяспромом” и еще какой-то подобного рода конторой. Их клиенты, попадавшие в редакционную часть коридора, ошарашено озирались, читая таблички на дверях кабинетов: “Отдел поэзии”, “Отдел критики”... Естественно, что бдительные соседи веселое застолье в период суровой борьбы за истребление алкоголизма восприняли бы как пир во время чумы, как “пощечину общественному мнению” и сразу бы “просигнализировали”. Волей-неволей приходилось переходить на нелегальное положение. Не отменять же традицию! “Художественную” часть редколлегий устраивали у кого-нибудь на квартире. Собирались то у меня на Березовой роще, то у заведующего редакцией Николая Лукина, жившего неподалеку. И, могу свидетельствовать, хуже от этого не было. Только уютнее и теплее становилось в домашних условиях.

Да и народ в заметно обновленной редколлегии подобрался талантливый, интересный, веселый. У меня сохранилась фотография той редколлегии, снятая летом 1987 года после одного из первых ее заседаний. На ступеньках совнархозовского здания стоят плечом к плечу, как богатырская дружина, Валерий Мурзаков, Геннадий Карпунин, Александр Романов, Виталий Пищенко, Анатолий Преловский, Николай Самохин, Юван Шесталов, мы с Володей Башуновым, Нелли Закусина, Владимир Сапожников, Анатолий Черноусов, Николай Яновский, Виталий Зеленский, Александр Плитченко, Геннадий Юров, Владимир Колыхалов... Почти два десятка осененных ярким светом прекрасного солнечного дня улыбающихся писателей из Новосибирска, Москвы, Омска, Томска, Кемерово, готовых положить на алтарь “Сибирских огней” свои силы и талант. Почти все еще сравнительно молоды, по-своему красивы, обаятельны, излучают неподдельные бодрость и оптимизм. С лица Карпунина исчез налет обычной мрачноватости. Пока все замечательно, планы у журнала большие и далеко идущие. До новых великих российских потрясений еще несколько лет. И кажется, что жизнь не только “прекрасна и удивительна”, но и для стоящих здесь людей — бесконечна.

Увы, жизнь умеет жестоко разрушать любые иллюзии. Ровно половины запечатленных на той исторической фотографии членов редколлегии сегодня уже нет в живых. И во главе скорбного этого списка — Геннадий Федорович Карпунин.

Но тогда, когда снималось это фото, еще ничто не предвещало большой грозы. Последнее советское десятилетие заканчивалось для “Сибирских огней” и их главного редактора достаточно благополучно. Это подтверждали и 93 тысячи подписчиков журнала по всей стране в 1990 году.

А потом пришел рынок... Совсем по-ленински: “Революция, о которой так долго говорили

большевики, свершилась!» И оказалось, что рынок — вовсе не панацея, а штука скользкая, коварная, с подводными камнями, о которые можно в любой момент разбиться. И не каждый способен с этой купи-продажной средой органично соединиться и жить в ней. Геннадий Карпунин все это сполна почувствовал на собственной редакторской шкуре.

В 1990 году я временно расстался с журналом — участвовал в создании газеты “Литературная Сибирь”, но продолжал следить за тем, как идут у него дела.

Последнее десятилетие XX века “Сибирские огни” встретили вольной птицей. Журнал больше не являлся ничьим органом. Его учредителями стали коллектив редакции и Союз писателей РСФСР. Вожделенный развод с Новосибирской писательской организацией, наконец-то, состоялся. Но легче от этого не стало. Свобода оказалась мнимой. Министерство печати и информации отказало журналу в бумаге, а Новосибирское книжное издательство перестало содержать журнал, волею экономических обстоятельств оказавшийся убыточным. Рыночная самостоятельность заставляла самим находить бумагу, оплачивать полиграфические и прочие услуги, платить авторский гонорар. На все это надо было зарабатывать. Каким образом? В статье “О рынке и духовности”, опубликованной в “Советской Сибири”, Карпунин высказывал по этому поводу некоторые соображения:

“Мне, например, видится такой путь: часть номеров (может быть, половина) — коммерческие номера типа журнал-книга. Для подписчика — обычная цена, по номиналу, а в розничной продаже — цена дороже... В каждом таком номере публикуется произведение, пользующееся, говоря канцелярским языком, повышенным читательским спросом...”

И действительно, какое-то время Карпунин эту идею пытался претворить в жизнь. Появились в такого рода “номерах-книжках” романы Я. Флеминга “Человек с золотым револьвером”, Э. Лимонова “Иностранец. Смутное время”, некоторые другие ходовые беллетристические вещи. “Своим” жанром стали в журнале детектив и фантастика. Но и цены росли не по дням, а по часам, а потому едва удавалось сводить концы с концами. Журнал был на грани закрытия.

В такой ситуации оказались не одни лишь “Сибирские огни”. Рухнули все литературные журналы. В этом Карпунин убедился, побывав в октябре 1990 года в Москве на совещании главных редакторов российских журналов, которое проводил Союз писателей РСФСР. Картина была примерно везде одинаково безрадостная. Журналы, да и вообще периодику, первыми бросили в пасть рыночному Минотавру. Присутствовавшие на совещании чиновники, ведающие печатью, ничего внятного и обнадеживающего по сему поводу сказать не смогли, намекнув, однако, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а путь к спасению у журналов только один — спонсорство и меценатство. Они и станут в 1990-е годы неутраченной головной болью главного редактора Карпунина.

Он с завистью смотрел на журналы национальные, которые взяли “на довольствие” правительства теперь уже суверенных республик. Готов был пойти “под крыло” серьезных общественно-политических движений и организаций, либо Православной церкви. Обращался за поддержкой к Ассоциации сибирских городов и к “Сибирскому соглашению”, справедливо полагая, что было бы логичным, если бы местные власти помогли своим писателям. Но этого, увы, не произошло. Предлагал Карпунин коллегам из других сибирских журналов и альманахов создать что-то вроде журнальной конфедерации для объединения усилий по изданию полноценных “Сибирских огней”. Скажем, по очереди формировать содержание номеров, но издавать их централизованно на единой базе. Однако зависла и эта идея. Местные литераторы были больше озабочены созданием собственных, пусть и микроскопических, печатных органов. Возникла у Геннадия даже мысль о сотрудничестве с ЛДПР (благо офис его местного отделения находился в том же здании Совнархоза). От помощи солидных промышленных предприятий и фирм главный редактор Карпунин тоже бы не отказался. Да он тогда, наверное, в любую бы протянутую руку помощи благодарно вцепился ради спасения журнала.

И рука такая нашлась. Некая промышленно-торговая фирма “Полис Компани” предложила “Сибирским огням” финансовую и материальную поддержку. Я при сем не присутствовал, но, со слов Геннадия, начиналось это сотрудничество как волшебная сказка.

22 марта 1992 года сотрудники “Сибирских огней” собрались в кабинете Карпунина вокруг его стола, в центре которого стояла трехлитровая банка с разлиухой, на которую едва наскребли денег, чтобы хоть символически отметить и 70-летний юбилей журнала, и совпавший с ним день рождения главного редактора. От банки почему-то несло бензином, и настроение у всех было далеко не праздничное. Пытались острить, подбадривать друг друга, но как-то через силу. И тут вдруг открылась дверь, и на пороге кабинета появились симпатичные молодые люди (руководители фирмы “Полис Компани”) с цветами, сувенирами, коньяком и поздравительными стихами. А главное — с ценнейшим для редакции подарком — предложением о помощи и сотрудничестве. Ребятам оказались небезразличны судьбы журнала и сибирской литературы. И это действительно в атмосфере всеобщего бардака и наплевательства на все и вся было похоже на сказку.

Вскоре “Полис Компани” стала соучредителем “Сибирских огней”. Редакция перебралась в ее офис. Казалось бы, вот теперь можно спокойно вздохнуть.

Однако счастье длилось так недолго... Молодые бизнесмены фирмы, видимо, не представляли, какое затратное дело выпуск журнала, а, подсчитав, прослезилась. К тому же, фирму вскоре покинули те, кому пришла в голову эта благотворительная идея. Отношение к журналу заметно похолодало. Выпуск его стал нерегулярным, номера выходили то сдвоенные, то строенные, то счетверенные. А в 1995 году и вовсе появилась только одна-единственная журнальная книжка. Некоторые же номера вообще оплачивали сами авторы. Так, например, №№ 7-12 за 1993 год полностью заняла повесть прозаика из Кузбасса С. Ильясова “Изгой”. Заметно уменьшился журнал и в объеме. Перестали выплачиваться авторские гонорары. Да и зарплаты сотрудникам урезали до минимума. Впрочем, и сотрудники к этому времени разбрелись. Из творческих работников оставались только главный редактор Карпунин, ответственный секретарь Мухина и вновь вернувшийся в “Огни” летом 1994 года Горшенин. Из своего офиса “Полис Компани” редакцию тоже “выдавила”. Благо, Зеленский сумел “выбить” у чиновников три комнаты для Сибирской писательской ассоциации в старом четырехэтажном здании на Каменской, где уже ютилось почти два десятка различных фирм и контор. Ну а поскольку “ассоциация” существовала фактически только на бумаге и в помещении сама как-то не нуждалась, Виталий Иванович одну из комнат отдал от щедрот своих “Сибирским огням”. Мы с Геннадием и машинисткой Любой собственными руками привели помещение в порядок, отремонтировали, наклеили обои, перевезли из “Полис Компани” редакционную мебель и стали жить на новом месте.

Но, как говорится, беда не приходит одна. Пока меценаты продолжали урезать и без того скудную “пайку” на содержание ставшего для них форменной обузой журнала, стараясь при этом “сохранить лицо” культурного благодетеля, зашевелилась Новосибирская писательская организация. Выведенная из состава учредителей, она впервые за семь десятилетий полностью лишилась рычагов влияния на “Сибирские огни” и простить этого никак не могла. К тому же, возглавлял ее в то время один из смердовских “бойр” и бывший закадычный дружок Карпунина Александр Плитченко. Решив, что наконец-то пробил его час и пора брать журнал в свои руки, он, как пробудившийся от спячки вулкан, зафонтировал, развил бурную деятельность, забросал Москву письмами. И в марте 1994 года на заседании правления СП РСФСР было принято решение “О введении в состав учредителей журнала “Сибирские огни” Новосибирской писательской организации”. А “Полис Компани” попросили подготовить проект нового учредительного договора, где предусматривалось бы и участие областной писательской организации.

Казалось бы, очень удобный для фирмы момент, чтобы сбросить с себя журнальный хомут. Но, во-первых, уважаемое, знаковое для столицы Сибири издание необходимо было ей для поддержания имиджа, а во-вторых, и его главный редактор, при всех тяготах и трениях существования в “Полис Компани”, отнюдь не жаждал броситься в объятия бывшего друга.

Конечную цель Сашиных игрищ он просматривал хорошо.

В общем, никто не хотел отступать. И тогда Плитченко в мае того же года инициирует открытое письмо президенту “Полис Компани Финанс Транс Холдинг” А.П. Катеневу и Г.Ф. Карпунину, которое подписали члены правления Новосибирской писательской организации. “Если жизнь со всей определенностью показала, что теперешний главный редактор не смог и не может обеспечить регулярное и полноценное издание журнала “Сибирские огни”, не лучше ли самостоятельно сложить с себя бремя непосильной ноши и вернуть журнал писателям? Значение журнала неизмеримо выше сомнительного благополучия редакторской семьи”, говорилось в нем.

Благополучие Карпуниных в то время, могу засвидетельствовать, было действительно крайне сомнительным. То есть его не было вообще никакого. В отличие, кстати, от того же Плитченко, который и раньше-то умел “вертеться” куда лучше Карпунина, а ныне и вовсе чувствовал себя весьма уютно. Но и он, думаю, явно переоценивал себя, полагая, что, взяв журнал в руки, смог бы вывести его из кризиса, вернуть былую славу. Во-первых, кризис-то был системный. Вместе с социально-экономическими устоями завалилась и вся книгоиздательская и книготорговая система. Во-вторых, утверждая, что располагает не одним десятком достойных рукописей, которые украсили бы страницы “Сибирских огней”, Плитченко лукавил. Толстый журнал — зверь страшно прожорливый. Его и в добрые-то времена насытить качественной пищей было нелегко, а уж в период безвременья, когда перед литераторами вставал вопрос элементарного физического выживания, и подавно. И это бывший ответственный секретарь “Сибирских огней” не мог не понимать. Но он считал, что в борьбе все средства хороши и придерживался наполеоновского принципа — главное ввязаться в драку, а там посмотрим. В отличие от Карпунина, который долго сомневался, вымерял, прикидывал и так и эдак, но ни к какому четкому решению подчас так и не приходил. И то, что для исследователя-литературоведа было очень даже положительным качеством, для капитана получившего серьезную пробоину литературного корабля, который требовалось срочно вывести из штормовой полосы, — вовсе нет.

А тут еще и пресса (не без стараний того же Плитченко) подливала масла в огонь. В новосибирских газетах стали появляться одна за другой оскорбительно-зубодробительные статьи о “Сибирских огнях”, где сравнение журнала с вырубленным вишневым садом, “павшим под ударами беспощадного топора новой экономической политики”, было самым безобидным. Так, одна из таких статей за подписью И. Ульяниной (ныне автора десятка сомнительных дамских романов) появилась в “Вечернем Новосибирске” под броским, говорящим за себя заголовком — ““Сибирские огни”: трибуна литераторов или семейная рекламно-издательская фирма?” Прозрачный намек содержался и в заголовке статьи А. Шуваловой “Зола былых костров”, напечатанной в той же “Вечерке”. Но переплюнул всех по эпатажности и разнузданному хамству появившийся в газете “Молодая Сибирь” материал М. Туханина “Как братец Карпунин порадовал дядюшку Катенева”, где, разбирая один из номеров “Сибирских огней” за 1994 год, целиком посвященный детям, автор камня на камне не оставляет не только от номера, но и вообще от журнала.

“Участь журнала “Сибирские огни”, который, как известно, находится в состоянии глубокой комы, похоже, давно никого не волнует. Это издание, рожденное в далеком двадцать втором году, подобно многим другим литературным журналам советского периода, изначально было нежизнеспособно и, предоставленное само себе, тихо угасло бы, не огорчив своей смертью ни единого читателя”, — берет быка за рога М. Туханин и продолжает в том же духе. По его “просвещенному” мнению, “Сибирские огни” “никакого уважения вызвать не могут”, потому что “не блистали никогда” и “ни разу у широкого читателя” интереса так и не вызвали. Более того, утверждал автор статьи, “к началу этого десятилетия художественный уровень журнала настолько опустился (никаких аргументов в доказательство, естественно, нет. — А.Г.), что стал притчей во языцех, и публиковаться там сделалось едва ли не зазорным для любого уважающего себя литератора”. Вот так! Ни больше, ни меньше. А заканчивал статью М. Туханин, вылив еще не один ушат грязи на журнал, его авторов и главного редактора, следующим пассажем:

“Я же хочу сказать, что лучше вообще не иметь в городе “толстого” литературного журнала, чем видеть такие вот “Сибирские огни”. И жаль меценатов, которые вложили деньги в солидное вроде бы издание, полагая, что поддержат настоящую литературу. А получили от “братца” Геннадия Карпунина и его редакции “подарок”, отличающийся особым остроумием: фантик, в котором — пустота”.

Вот так!

Не собираюсь сегодня вдаваться в полемику с авторами тех пасквилей. Тем более что им я тогда же оперативно и ответил в статье “А пароход плывет” (“Советская Сибирь” от 28 мая 1994 г.). Время все расставило по местам. Те ребята, махнув своими картонными дубинками, давно исчезли с горизонта, а пароход “Сибирских огней” продолжает плыть... Но вот что забавно (а может, и обидно): по иронии судьбы автором той статьи про “братца Карпунина” был внук нашего замечательного прозаика, постоянного автора и большого друга “Сибирских огней” Ильи Михайловича Лаврова.

Весь этот шум и возня вокруг “Сибирских огней” на состояние Геннадия действовали, разумеется, не лучшим образом. Опускались руки. Но ему хватило мужества и решительности “расплеваться”, наконец, с “Полис Компани”. В 1996 году она перестала быть учредителем “Сибирских огней”.

И стало совсем кисло. Ни зарплаты, ни средств на выпуск журнала. Так — разовые подачи, которые перепадали иногда в результате обивания чиновничьих порогов. И если для кого-то хождение по властным коридорам было естественным процессом делового существования, то для Геннадия — настоящей пыткой и зубной болью. После каждого такого визита находился он на грани нервного стресса. А ведь не какой-то проходимец с улицы был. Еще по советским партийным временам был неплохо знаком многим чиновникам. С тогдашним губернатором Индинком, например, в одно время в Томском политехническом институте учился. Тем не менее, отдача от визитов Карпунина была минимальная.

Может, он просто не умел просить? Возможно. Вымаливать подаяние — тоже искусство, которым далеко не каждый владеет. Выпрашивать же у чиновников средства на дело, на которое им, по большому счету, глубоко наплевать, — искусство вдвойне. А “толстый” литературный журнал, исповедующий духовные, а не материальные ценности, по мнению большинства “новых”, наскоро перелицованных из старых совковых, деятелей, в современной рыночной стихии как раз и был вещью совершенно не нужной.

Короче говоря, не блестящее и до этого, существование после развода с фирмой началось совсем жалкое. В 1996 году сумели наскрести денег всего на два номера. Да и те выпускались, как никогда, тяжело. Сами потом нанимали машину, своими силами грузили из типографии тираж, везли на железнодорожный почтамт...

В 1997-м, в год своего 75-летнего юбилея, “Сибирские огни” перестали выходить. Зато состоялась встреча двух главных редакторов журнала — бывшего и нынешнего — Никулькова и Карпунина. Встречу организовал корреспондент “Советской Сибири”, Володя Никульков, сын Анатолия Васильевича, и проходила она у Никулькова-старшего на квартире. (Запись беседы под названием “Огнелюбы” “Советская Сибирь” опубликовала 29 марта 1997 г.). Она и стала единственным юбилейным мероприятием.

О чем говорили тогда бывший начальник с бывшим подчиненным, которые в общей сложности находились у руля журнала почти четверть века, то есть треть времени его существования? “Бойцы вспоминали минувшие дни”, славную историю “Сибирских огней”, говорили о его непреходящем культурном значении. И, конечно же, размышляли о судьбе и видах на будущее журнала. Виды были неутешительными, но сам факт состоявшейся встречи можно считать историческим. Обнародованная в областной газете, она, я думаю, не прошла незамеченной и сыграла в

дальнейшем определенную роль в возрождении и дальнейшей судьбе журнала.

Вынужденный тайм-аут “Сибирских огней” в следующем, 1998 году, завершится. Для журнала начнется новая страница его жизни. Но уже без Карпунина. А Геннадий Федорович в том же, 1997-м, примет нелегкое для себя решение оставить пост главного редактора и передать бразды правления Виталию Ивановичу Зеленскому.

“Раз уж я многих раздражаю, как быка красная тряпка, надо уходить”, — прокомментировал он свое решение. И в этом была, наверное, своя сермяжная правда. Карпунин многим, включая некоторых братьев-писателей, действительно казался тогда фигурой одиозной. Во всяком случае, стараниями части журналистов такой его образ был создан. Сказывалась и усталость. Шутка ли — стучаться год за годом в глухую стену!..

Заканчивая разговор о редакторском периоде жизни Карпунина, не стану пускаться в рассуждения относительно того, насколько плох или хорош был Геннадий в этой ипостаси. Главное, что в делах и помыслах он оставался честен. Время и бремя ему достались труднейшие, но он делал все, что было в его силах и возможностях, дабы спасти журнал, не дать пойти ему ко дну, сохранив при этом и дух его, и основные устои. И в целом Геннадий Карпунин эту задачу выполнил, в чем, думаю, и есть его главная заслуга. Так что я бы смело мог назвать его “последним героем” “Сибирских огней”.

Борьба за выживание журнала отнимало много времени и сил, тем не менее, о творческих делах Геннадий тоже не забывал. Осуществил перевод “Велесовой книги” — еще одного загадочного памятника древнерусской словесности (опубликован в “СО” в 1995 г.). Как комментарий к ее текстам возникла в семейном соавторстве Карпунина и Мухиной книга о славянских верованиях и мифологии “Красный венец” (“СО”, 1998, №1). Занимался Геннадий и таким странным, на первый взгляд, делом, как создание антологии так называемой “метеоритной поэзии”. Когда-то “на заре туманной юности” Карпунин участвовал в нескольких экспедициях к месту падения Тунгусского метеорита. Творческим их результатом стал цикл стихов и получившая широкую известность песня “Синильга”. Под этим названием в 1996 году вышел составленный Геннадием и двумя его товарищами по Тунгусским походам сборник. Мне довелось быть свидетелем, как потели составители, собираясь то в редакции на Каменской, то у Карпунина на кухне за бутылкой водки, стараясь отобрать лучшее, придать первичному стихотворному хаосу более или менее стройные очертания и некую концептуальную стройность. Три десятка авторов уместилось на страницах сравнительно небольшого по объему сборника. В том числе были там и циклы стихов самих составителей — доктора наук Дмитрия Демина, кандидата наук и барда Виктора Черникова, ну и, конечно, Карпунина, чьи стихи были настоящим украшением антологии и ее “паровозом”. Каждая страница “Синильги” была пропитана душой Геннадия. Это и не удивительно. Он словно бы снова возвращался в романтические места своей юности. Удивительно другое — как книга эта вообще смогла появиться в смутное время, когда, казалось бы, совершенно не до романтики. Она стала своеобразным окном в романтически-светлый, чистый и высокий мир — мир, которым Геннадий всегда дорожил.

Кстати, в последний год жизни Геннадию с помощью друзей удастся совершить еще одно путешествие в Тунгусскую тайгу — не воображаемое, а самое что ни на есть реальное. По возвращении он рассказывал о нем с восхищением. И с печалью, предчувствуя, видимо, что больше туда он не вернется.

...После того, как журнал в 1997 году перестал выходить, мы с Геннадием встречались редко. Раза три по его приглашению я принимал участие во встречах с литературным объединением “Молодость”, которым они с Ольгой тогда руководили, переняв эстафету от поэта Михаила Шляева. С самим Михаилом он, кстати, тоже много возился, доводя до ума его огромную поэму “Ярило”, которую потом и опубликовал в журнале. Благодаря Карпунину же Шляев и в Союз писателей вступил. Встречи те заканчивались обычно крепкими застольями. Но даже на них

Геннадий редко по-настоящему оживлялся. Что-то уже глодало его изнутри...

В ноябре 1997 года скончался от сердечного приступа один из смердовских “бояр” Александр Плитченко. Хоронить его пришлось пол-Новосибирска. Популярность у Саши в родном городе была велика. Но не было среди них еще одного “боярина”.

— Что ж ты так? — помнится, укорил я после Гену.

Он виновато насупился, глубоко втянул в себя воздух, а Ольга за него объяснила:

— Мы сами к нему съездили. Отдельно попрощались. Так было удобнее...

Непростые и извилистые по жизни отношения “бояр” в финале своем тоже завершились таким “зигзагом”.

“Боярин” Карпунин своего друга-соперника пережил ненадолго. Летом 1998 года умер Шляев. Хоронили его из нынешнего помещения Союза писателей на углу Орджоникидзе и Мичурина. На панихиде, среди говоривших прощальные слова, я увидел и Карпунина. Он посерел, еще больше усох, мучился идущим откуда-то из нутра ржавым нездоровым кашлем. Даже на поминки не поехал.

Таким я его и запомнил. Не знал, что вижу на ногах и в окружении людей в последний раз. Кашель оказался симптомом рака, и коварная эта болезнь быстро свернула и испепелила Геннадия, как попавший в огонь лист. Смерть никого не красит, но Карпунин в гробу абсолютно не походил на себя живого. Казалось, в домовине лежит совсем другой человек. И только приглядевшись, можно было уловить какие-то прежние его черты.

За несколько лет до кончины в цикле “Метеоритный лес” Геннадий в ностальгическом стихотворении “Воспоминание о Синильге” писал:

**Уже зарастают следы катастрофы.  
На просеке старой цветет Иван-чай.  
Синильга, Синильга...  
Забывшие строфы  
Однажды на память придут  
невзначай...**

Они пришли на поминальном обеде в “сороковины” Геннадия Карпунина. В разгар траурных словоизлияний и возлияний вдруг раздался задушевный гитарный перебор, и друзья-“космодранцы”, как шутливо называли себя соратники по Тунгусским экспедициям, а ныне солидные ученые из Новосибирска, Томска и других российских городов, запели “Синильгу”. Было это настолько же неожиданно, насколько и символично. Романтическая песня шестидесятых годов звучала сейчас как реквием ее создателю, словно говорила последнее “прости”. Красавица Синильга из далекой молодости снова махала березовой веточкой вослед — теперь уже прощаясь навсегда...

Впрочем, так ли уж и “навсегда”? Воплотившись в стихотворном сборнике с аналогичным названием, она получила свое творческое продолжение. Почти десятилетие проводился ежегодный конкурс самодеятельных литераторов имени Геннадия Карпунина, собиравший авторов из многих уголков страны. Стихотворный же сборник “Синильга” превратился за это время в полноценный литературно-художественный многоплановый и многожанровый альманах.

А то, что имя Геннадия Карпунина не забыто, я смог убедиться лишний раз, побывав однажды на станции Ояш, где принимал участие во встрече, посвященной его творчеству. Вместительный зал местной средней школы был забит до отказа. Были тут и школьники, и представители районной

интеллектуальности, и просто любители поэзии. Звучали (многие читали по памяти) стихи Карпунина. Ояшинцы делились воспоминаниями. Я говорил о жизни и творчестве Геннадия, а потом и сам с удивлением узнавал некоторые неизвестные мне детали и подробности. Но самое главное — по атмосфере, царившей в зале, можно было почувствовать, что человек, ради которого все здесь собралось, по духу своему, выраженному им в поэтическом слове, чрезвычайно близок присутствующим. А что может быть лучшей наградой и памятью для каждого, связавшего свою судьбу со Словом?..

© 2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал" | Адрес для писем: [zhz@russ.ru](mailto:zhz@russ.ru)  
По всем вопросам обращаться к [Татьяне Тихоновой](#) и [Сергею Костырко](#) | [О проекте](#)